

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ

Великий ИНКВИЗИТОР

*Весь довод и весь ответ
в одном томе*

Бунт · Великий инквизитор
Русский инок · Черт

Шесть мировых традиций
читают поэму Ивана

Каббала · Суфизм · Веданта
Даосизм · Герметизм · Юнгианская психология



ЮРИЙ РУГЕНС

Юрий Ругенс

**Великий инквизитор.
Полный текст через
шесть мировых традиций**

«Автор»

2026

Ругенс Ю.

Великий инквизитор. Полный текст через шесть мировых традиций
/ Ю. Ругенс — «Автор», 2026

Самое сильное возражение Великому инквизитору произносит чёрт. Вся вторая половина речи старика стоит на том, что чудом человека можно взять. Через шесть книг ночной гость Ивана роняет между делом: «Фома поверил не потому, что увидел воскресшего Христа, а потому, что еще прежде желал поверить». Чудо не производит веры. Тот, кто читает одну главу, этого не увидит. В этом томе четыре главы «Братьев Карамазовых», которые составляют один спор: «Бунт», «Великий инквизитор», поучения старца Зосимы и «Черт». Полный текст, без сокращений. И двадцать один ключ истолкования: шесть мировых традиций — каббала, суфизм, веданта, даосизм, герметизм, юнгианская психология — читают поэму и расходятся между собой. На законе Инквизитора о чудесах его не опровергает ни одна из шести. На Вавилонской башне за него не стоит никто.

© Ругенс Ю., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Выходные данные	5
Введение	6
Глава, которую читают отдельно от книги	6
Что сказал об этом сам Достоевский	7
Трое, кто читал до нас	8
Шесть традиций — и почему они между собой не согласны	9
Оговорка, без которой всё остальное будет понято неверно	10
Суд, в котором сменяется судья	11
Как устроен этот том	12
О тексте этого издания	13
Что здесь напечатано	13
Почему именно эти четыре	14
Почему Зосима не целиком	15
По какому тексту	16
Что снято	17
Орфография	18
О правах на этот текст	19
Что в этом томе наше	20
Что нужно знать до Инквизитора	21
Дом Карамазовых	22
Монастырь и старец Зосима	23
Место и час	24
Мысль, из которой всё растёт	25
Кого ещё встретите по имени	26
О конце романа — можно отложить	27
Как читать эту книгу	28
Три порядка чтения	29
Что стоит в ключе	30
Чего в этой книге нет	31
О согласии	32
Бунт	33
Великий инквизитор	40
Конец ознакомительного фрагмента.	50

Юрий Ругенс

Великий инквизитор. Полный текст через шесть мировых традиций

Выходные данные

Великий инквизитор. Полный текст и шесть мировых традиций

Бунт · Великий инквизитор · Русский инок · Черт. Двадцать один ключ истолкования

Текст: Ф. М. Достоевский, «Братья Карамазовы» (1879–1880). Общественное достояние.

Состав тома, вступления, примечания, двадцать один ключ истолкования, послесловие и приложения: Юрий Ругенс.

Переводы с китайского, арамейского, греческого и латинского в разделе ключей наши. Издательские сноски электронного источника, по которому набран текст, удалены целиком и не использовались.

Издатель: SenseQuo, 2026.

Орфография текста Достоевского сохранена по источнику, в том числе написание без буквы ё. Наш собственный текст набран с ё. Цитаты из Достоевского приводятся в написании источника — иначе читатель не найдёт их на странице.

Введение

Глава, которую читают отдельно от книги

«Великий инквизитор» живёт сам по себе. Его печатают в хрестоматиях, разбирают на семинарах, читают вслух с эстрады, цитируют в спорах о свободе — и почти всегда в отрыве от тысячи страниц, внутри которых он стоит. Василий Розанов, первым написавший о этой главе целую книгу, считал её не эпизодом, а средоточием: по его словам, именно «Легенда» составляет как бы душу всего произведения, вокруг которой остальное только группируется.

С этим трудно спорить. Но у отдельного чтения есть цена, и она высокая.

Поэму произносит человек, который за несколько минут до неё предъявил иск. В главе «Бунт» Иван Карамазов собирает дело: турки, подбрасывающие младенцев на штыки, помещица, засёкшая дворовую девку, пятилетняя девочка, запертая родителями в отхожем месте на всю ночь. Он не спрашивает, есть ли Бог. Он говорит, что при любом ответе отказывается от мировой гармонии, если в её основание положена хоть одна детская слеза, — и возвращает входной билет. Поэма об Инквизиторе — продолжение этого отказа, а не самостоятельное рассуждение о свободе. Прочитанная без «Бунта», она теряет истца.

А ещё у неё есть ответ, который Достоевский дал в другом месте книги, несколькими сотнями страниц позже, — и который при отдельном чтении поэмы исчезает вовсе.

Что сказал об этом сам Достоевский

Летом 1879 года, когда пятая книга романа уже вышла в «Русском вестнике», К. П. Победоносцев прочёл её и спросил автора прямо: где же опровержение? Достоевский ответил ему письмом из Эмса 24 августа (5 сентября) 1879 года.

Он согласился с вопросом. Ответа, признаёт он, «на все эти атеистические положения у меня пока не оказалось, а их надо». И тут же говорит, где он будет: «ответом на всю эту отрицательную сторону я и предположил быть вот этой 6-й книге». Шестая книга — «Русский инок», поучения старца Зосимы; она появилась через неделю, 31 августа.

В том же письме он предупреждает, каким этот ответ будет. Не разбором по пунктам, не опровержением тезиса тезисом: «Тут представляется нечто прямо противоположное выше выраженному мировоззрению» — и представляется, по его собственному слову, в художественной картине.

Это стоит удержать, прежде чем читать Зосиму. Старец не отвечает Ивану на доводы. Он не разбирает ни хлебов, ни чуда, ни меча кесаря, и ни разу не возражает Инквизитору. Он говорит о другом и из другого места: о том, что «ты-то и есть за всех и за вся виноват», что землю надо целовать, что ад есть страдание о том, что больше не можешь любить. Читатель, ждущий здесь опровержения, будет разочарован, и разочарован напрасно: ему обещали не опровержение. Ему показывают человека, при котором иск Ивана теряет не правоту, а силу.

Есть и ещё одно свидетельство, косвенное, но говорящее о том, как Достоевский относился к этой главе. В августе того же года он жалуется редактору на типографию: в главе «Великий инквизитор» «не только нарушены мои рубрики», всё напечатано сплошь, «страниц 10 сряду, без перенесения на другую строчку даже». Это «очень меня огорчило». Человек, споривший с набором за расстановку абзацев в собственном монологе, имел о его устройстве твёрдое мнение. Поэтому в этом томе текст не разорван ничем: ни вставкой, ни комментарием, ни врезкой. Весь наш разбор стоит после текста, отдельным разделом, и начинается там, где кончается Достоевский.

Трое, кто читал до нас

Разбирать эту главу начали сразу и не переставали никогда. Три работы стоят у начала русской традиции её чтения, и все три свободны от авторского права, так что читатель может свериться с ними сам.

Василий Розанов, «**Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского**» (1891, отдельным изданием 1894). Первая работа, посвящённая собственно поэме, и первая, в которой Достоевский предстал не романистом с философскими наклонностями, а религиозным мыслителем. Розанов читает поэму как средоточие романа и всего, что Достоевский написал. Спор с ним начался немедленно: К. Н. Леонтьев, прочитав этюд, возражал, что в толковании католичества Достоевский ошибается, а сама поэма к жизни неприменима.

Николай Бердяев — статья «Великий инквизитор» (1907) и книга «Мирозерцание Достоевского» (1923). Бердяев вытащил из главы то, что с тех пор стало главным в её чтении: свобода у Достоевского не награда, а бремя, и трагедия Инквизитора в том, что он прав насчёт людей. Для Бердяева эта глава — центральная не только у Достоевского, но и в русской мысли о свободе вообще.

Сергий Булгаков, «**Иван Карамазов как философский тип**» (1902). Булгаков сделал шаг, который до него сделать не решались: он отнёсся к Ивану не как к заблудшему герою, которого автор опровергает, а как к философскому типу — последовательному, честному и сильному. После Булгакова читать Ивана как отрицательный персонаж уже нельзя.

Этих трёх объединяет общее: все они читают поэму изнутри русской религиозной мысли, в споре христианства с атеизмом, и других участников в этом споре не предполагают. Так её читают и до сего дня — и так мы в этом томе читать не будем.

Шесть традиций — и почему они между собой не согласны

Разбор, который идёт после текста, устроен иначе. Двадцать один ключ, и в каждом одно место поэмы или примыкающих к ней глав читают по очереди шесть традиций: каббала, суфизм, веданта, даосизм, герметизм и юнгианская психология.

Если бы шесть голосов подтверждали друг друга, затевать это не стоило бы. Но они расходятся, и расходятся по существу — не в оттенках, а в приговоре.

На стороне поцелуя стоят каббала и Юнг. Для каббалы Инквизитор — чистый суд без милости, и молчание Христа есть то самое самосжигание, которым Бог освобождает место для чужой свободы: жалоба старика оказывается жалобой на устройство мира, а не на его Творца. Для юнгианского чтения Инквизитор — тень самого Ивана, его автопортрет и его же обвинительный акт, а поцелуй — попытка соединения, от которой старик отказывается.

На стороне Инквизитора стоят веданта и герметизм, и это надо сказать прямо. «Накорми, тогда и спрашивай с них добродетели!» — не выдумка Инквизитора: ровно это различие между приятным и благим составляет содержание Катха-упанишады, где Яма предлагает Начикетасу два пути и предупреждает, что большинство выбирает первый. Больше того, веданта знает учение о разной способности к знанию и прямо говорит, что высшее, данное неготовому, вредит ему. Герметизм же весь стоит на том, что знание сообщается немногим и под условием тайны, — то есть на второй из трёх вещей, в которых Инквизитор признаётся.

На обе стороны говорят даосизм и суфизм. Молчание Христа — безупречное неделание, и лучше даосского описания ему не найти. Но шестьдесят пятый чжан Лао-цзы сообщает, что древние, искусные в Пути, не просвещали народ, а держали его в простоте, — и это программа Инквизитора, изложенная с одобрением и приписанная не администрации, а самому Пути. Суфизм даёт три искушения как три ступени самости и молчание как стоянку, где речь кончается; но он же знает Иблиса в чтении Халладжа и Аттара — благородного слушника, отказывающего Богу во имя Бога и из любви к Нему. Инквизитор в этом чтении оказывается не противником Христа, а его двойником по мотиву.

Эти расхождения мы не заглаживаем. В каждом ключе есть строка «Синтез», но синтез там означает не согласие: он называет, в чём именно шесть голосов не сошлись и что из этого следует. Книга не выносит приговор — она доводит спор до того места, где приговор приходится выносить читателю.

Оговорка, без которой всё остальное будет понято неверно

Достоевский не читал Зогара. Он не изучал упанишад, не знал Лао-цзы в сколько-нибудь надёжном переводе и умер за тридцать лет до первой работы Юнга. Мы не утверждаем ни влияния, ни скрытого источника, ни тайного знания автора — ничего из того, что обыкновенно подразумевают, составляя такие сопоставления.

Шесть традиций здесь не источники, а инструменты. Утверждение этой книги другое и более скромное: поэма Ивана задаёт несколько вопросов — о цене свободы, о праве знающего молчать, о том, можно ли накормить человека прежде, чем спросить с него, — и каждая из шести традиций над этими вопросами думала веками и к чему-то пришла. Поставленные рядом, их ответы показывают, где в главе настоящая трудность, а где только риторика. Ровно для этого они и поставлены.

Кто прочтёт эту книгу как доказательство, что Достоевский был тайным каббалистом, прочтёт её ровно наоборот.

Суд, в котором сменяется судья

У двадцати одного ключа есть сквозная линия, и в каждом из них ей отведена отдельная строка — «Кто здесь судит».

Дело в том, что собранные здесь четыре части — это один процесс, в котором место судьи переходит из рук в руки. Сперва судит Иван, и подсудимый у него — Бог: в «Бунте» выслушаны свидетели, предъявлены улики, вынесен отказ. Затем судит Инквизитор, и подсудимый — Христос, которому зачитывают приговор и не дают сказать ни слова. Затем приходит Зосима и не отвечает ни тому, ни другому, а делает то, чего никто не ждал: отменяет самый суд, объявив, что каждый за всех и за всё виноват, и тем лишая прокурорское место смысла. И наконец судят Ивана, причём судья является к нему лично, садится на диван напротив и говорит его же словами.

Христос в этом процессе не занимает места судьи ни разу. Единственное, что он делает, — молчит и целует.

К двадцать первому ключу место судьи остаётся свободным, и в книге больше нет никого, кто мог бы его занять. Это не фигура речи и не риторический оборот в конце предисловия: так устроена сама глава. Достоевский кончает её тем, что Алёша повторяет поцелуй Инквизитора, а Иван смеётся и кричит про литературное воровство, — и не объясняет, что это значит. Он оставляет работу читателю. Эта книга старается не сделать её вместо него.

Как устроен этот том

Сперва текст — четыре части «Братьев Карамазовых» в том порядке, в каком они стоят у Достоевского, каждая с коротким вступлением о том, где мы находимся. Текст ничем не разорван.

Затем двадцать один ключ, семью частями, в том же порядке, что текст.

Затем послесловие, приложение о том, как читали Инквизитора до нас, и словарь имён и понятий.

Читать можно с любого места, но если роман вам незнаком, начните с главы «Что нужно знать до Инквизитора»: там на нескольких страницах собрано всё необходимое и ничего лишнего.

От издателей.

О тексте этого издания

Что здесь напечатано

Четыре части романа «Братья Карамазовы», в том порядке, в каком они стоят у Достоевского:

1. **«Бунт»** — книга пятая, глава IV.
2. **«Великий инквизитор»** — книга пятая, глава V.
3. **«Из бесед и поучений старца Зосимы»** — книга шестая, глава III.
4. **«Черт. Кошмар Ивана Федоровича»** — книга одиннадцатая, глава IX.

Первая, вторая и четвертая напечатаны целиком, без единого сокращения. Третья — целиком та глава, которая названа, но не вся книга шестая; об этом ниже.

Почему именно эти четыре

Поэма Ивана Карамазова о Великом инквизиторе известна отдельно от романа и чаще всего так и читается — отдельной главой, вырванной из тысячи страниц. Читать её так можно, но тогда от неё остаётся половина.

Поэме предшествует глава «Бунт». В ней Иван предъявляет иск: собирает дело о страданиях детей и отказывается от мировой гармонии, если она куплена слезой одного ребёнка. Поэма — не самостоятельное рассуждение о свободе, а продолжение этого иска, и без «Бунта» она висит в воздухе: непонятно, против чего говорит Инквизитор и почему Христос ему не отвечает.

За поэмой следует ответ. Достоевский дал его не сразу и не в том же месте: ответ — книга шестая, поучения старца Зосимы. Это его собственное решение, а не наша догадка. В письме К. П. Победоносцеву от 24 августа (5 сентября) 1879 года он пишет, что «ответу на все эти атеистические положения» у него пока не оказалось, «а их надо», и дальше прямо: «ответом на всю эту отрицательную сторону я и предположил быть вот этой 6-й книге». «Великий инквизитор» назван в том же письме.

И наконец, у довода есть исход. В книге одиннадцатой к Ивану приходит чёрт — приходит в его собственную комнату, садится на диван и говорит его же словами. Автор поэмы о свободе, которой человек не выносит, сам не выносит своей мысли и сходит с ума. Без этой главы книга кончалась бы на утешении, которого Достоевский не дал.

Эти четыре части лежат в романе порознь: в книгах пятой, шестой и одиннадцатой, между ними — несколько сотен страниц другого действия. Собранные вместе, они составляют довод целиком: иск, поэма, ответ, расплата. В таком составе их не издают: читателю доступны либо весь роман, либо одна глава без того, что ей отвечает.

Почему Зосима не целиком

Книга шестая состоит из трёх глав. Первая — старец и его гости. Вторая — житие Зосимы, записанное Алёшей: детство, брат, армейская молодость, дуэль, таинственный посетитель. Третья — «Из бесед и поучений старца Зосимы».

Отвечает Ивану третья. Житие — биография одного человека, прекрасная сама по себе, но к доводу она не относится: в ней рассказано, как Зосима стал тем, кем стал, а не что он думает о свободе, вине и аде. Поэтому здесь напечатана глава III, вся, от первого слова до последнего, вместе с заключительными словами рассказчика о том, что рукопись Алексея Фёдоровича на этом оканчивается.

Разделение, кстати, видно в самом тексте: поучения размечены буквами, и глава III начинается с буквы «д» — подразделы «а», «б», «в» и «г» остались в житии.

По какому тексту

Текст набран по свободному электронному изданию романа, не содержащему издательского аппарата — ни предисловия, ни примечаний, ни редакторских сносок. Целостность глав и их границы проверены по всему объёму.

Комментированные академические издания — в частности Полное собрание сочинений в тридцати томах (Ленинград, «Наука», 1972–1990) — не использовались сознательно. Сам текст Достоевского в них свободен, но составленный учёными комментарий, примечания и текстологический аппарат охраняются авторским правом, и брать из них нельзя ничего, даже справку.

Что снято

Из источника удалены колонтитулы, номера страниц и подстраничные сноски. Сноски требуют отдельного слова: это были переводы иностранных фраз, сделанные неизвестным нам составителем электронного издания. Пользоваться ими мы не вправе, поэтому сняли их целиком.

Иностранных вставок в этих четырёх главах двадцать шесть — больше всего в «Чёрте», где гость Ивана говорит по-французски почти в каждой реплике. Все переводы в этом томе наши собственные. Они набраны курсивом и помечены словами **От издателей** — чтобы читатель ни на секунду не принял наше примечание за слово Достоевского.

Орфография

Орфография и пунктуация источника сохранены. Буква «ё» в нём не расставлена — «Федор», «еще», «черт», — и мы её не восстанавливали: правка потребовала бы решения в тысячах спорных мест, а выборочное восстановление выглядит хуже последовательного отказа. По той же причине «Черт» через «е» стоит и в заголовке главы, и на обложке: заголовок принадлежит тексту, а не нам.

В нашем собственном тексте — во введении, вступлениях к частям, примечаниях и ключах — «ё» расставлена по нынешней норме. Поэтому у Достоевского здесь «Федор Павлович» и «Алеша», а в нашем разборе рядом «Фёдор Павлович» и «Алёша». Это не небрежность: напечатанный текст воспроизводится в своём написании, аппарат пишется в современном. Так же поступают и академические издания.

Из этого следует одно правило, которое мы держим строго. **Цитаты из текста приводятся в написании текста, то есть без «ё»** — даже когда в окружающей их нашей фразе «ё» стоит. Иначе читатель, пожелавший найти цитату на странице, её не найдёт, а обещание проверять нас не выходя из книги окажется пустым. Все цитаты в ключах сверены с напечатанным текстом посимвольно.

О правах на этот текст

Фёдор Михайлович Достоевский умер 28 января (9 февраля) 1881 года. «Братья Карамазовы» печатались при его жизни, в «Русском вестнике» 1879–1880 годов, отдельным изданием вышли в 1881-м. Срок охраны исключительного права истёк задолго до введения любого из действующих ныне правил. Текст романа находится в общественном достоянии, и напечатать его вправе всякий.

Что в этом томе наше

Текст Достоевского принадлежит всем. Наше в этой книге — всё остальное:

- эта заметка;
- введение;
- раздел «Что нужно знать до Инквизитора»;
- раздел «Как читать эту книгу»;
- четыре вступления к частям и врезка перед поучениями Зосимы;
- переводы иностранных фраз и прочие примечания, помеченные словами «От издатель»;
- двадцать один ключ истолкования;
- послесловие;
- приложение «Как читали Инквизитора до нас»;
- словарь имён и понятий;
- состав тома и порядок частей.

На всё это у издательства SenseQuo есть исключительное право, и воспроизведение возможно только с его разрешения.

От издателей.

Что нужно знать до Инквизитора

Эта глава написана для тех, кто «Братьев Карамазовых» не читал или читал давно. Пересказывать роман мы не будем: в нём около тысячи страниц, четыре судебных дня, два следствия и десяток сюжетных линий, к нашему доводу не относящихся. Здесь только то, без чего четыре напечатанные части не читаются, — и ни строкой больше.

Порядок такой: сначала люди, потом место и час, потом мысль, из которой всё растёт. В самом конце — о том, чем роман кончается; этот раздел отмечен особо, и его можно отложить.

Дом Карамазовых

Действие идёт в уездном городе Скотопригоньевске, в середине 1860-х годов. Всё держится на одной семье, и семья эта разваленная.

Фёдор Павлович Карамазов, отец, человек лет пятидесяти пяти. Помещик, разбогатевший на чужом приданом и на мелком плутовстве. Сладострастник, пьяница и шут, причём шут сознательный: он нарочно доводит людей до отвращения и этим живёт. Был женат дважды. Первая жена, Аделаида Ивановна, родила Дмитрия и убежала. Вторая, Софья Ивановна, кроткая и запуганная, родила Ивана и Алексея и рано умерла. Ни одного из сыновей он не воспитывал: всех трёх разобрали по чужим домам, и выросли они друг друга почти не зная.

Дмитрий — Митя, старший, лет двадцати восьми. Отставной офицер, человек бурный, честный в своей буйности, вечно без денег. С отцом у него две ссоры, и обе смертельные: о наследстве, которое отец, по его убеждению, у него зажал, и о женщине — Грушеньке, за которой они оба ходят. Митя говорит о себе, что он насекомое и что в нём «сладострастие Карамазовых», и тут же плачет о добре. Он не думающий герой, он чувствующий.

Иван — средний, двадцати трёх лет. Учился, живёт литературным трудом, успел напечатать статью о церковном суде, которую в городе обсуждают. Холоден, вежлив, скрытен. Он единственный в семье, кто мыслит, и мыслит до конца, не останавливаясь там, где остановился бы человек поосторожнее. Поэму о Великом инквизиторе сочинил он, и всё в этом томе — его дело: иск, поэма и расплата.

Алексей — Алёша, младший, двадцати лет. Послушник в городском монастыре. Его любят все, включая отца и Митю, и он единственный, с кем в этой семье говорят правду. Он не проповедник и не спорщик: в разговоре с Иваном он почти всё время слушает. Это надо держать в голове, читая поэму, — она произносится в упор одному слушателю, и слушатель этот любит говорящего.

Павел Фёдорович Смердяков — лакей в доме Фёдора Павловича, лет двадцати четырёх. Сын городской юрдивой, Лизаветы Смердящей; отцом его молва называет Фёдора Павловича, то есть, по всей видимости, он четвёртый брат, которого никто братом не зовёт. Повар, эпилептик, человек оскорблённый с рождения и этого не забывающий. Он слушает Ивана внимательнее всех. Запомнить его надо: в четвёртой части этого тома он решает всё.

Монастырь и старец Зосима

Алёша живёт не просто в монастыре, а при **старце Зосиме** — иеросхимонахе, к которому ходит за советом полгорода и приезжают издалека. Старчество в русском монашестве значит почти буквальное послушание: человек отдаёт свою волю старцу и этим учится её иметь.

Зосима стар и умирает. Он знает это и за несколько дней до смерти отправляет Алёшу из монастыря в мир — велит ему жить среди людей, а не при келье. Именно поэтому Алёша в день нашего разговора оказывается в городе, а не в скиту.

Почтения Зосимы, составляющие третью часть этого тома, записаны Алёшей с его слов и произнесены в последний вечер его жизни. Умирает он в тот же вечер, опустившись на пол и целуя землю.

Иван в поэме называет Зосиму «Pater Seraphicus» — выражение из второй части «Фауста» Гёте. Называет насмешливо и, кажется, не вполне.

Место и час

Разговор, с которого начинается этот том, происходит на второй день действия романа, вечером, в трактире «Столичный город». Алёша разыскивал Митю, не нашёл и встретил Ивана. Садятся за уху и варенье.

Это их **первый и единственный настоящий разговор**. Выросли они врозь, прожили в одном городе несколько дней и до сих пор друг друга не знают. Иван уезжает — он так говорит, — и, зная, что уезжает, решает высказаться. Отсюда и тон: не спор, а исповедь человека, который не собирается её повторять.

Трактирная глава перед «Бунтом» называется «Братья знакомятся». Название точное: Иван в ней говорит, что любит жизнь «по-карамазовски», до тридцати лет, и что потом разобьёт кубок об пол. И сразу за этим начинается «Бунт».

Мысль, из которой всё растёт

За несколько дней до трактира, в монастыре, при Зосиме и при отце, кто-то из гостей пересказывает мнение Ивана, и пересказ этот звучит так: если нет бессмертия души, то нет и добродетели, а значит — **всё позволено**.

Иван это мнение не опровергает. В трактире он продолжает ту же мысль, но с другого конца: не «всё позволено, и прекрасно», а «если мир устроен так, что дети мучаются, я такого мира не принимаю». Он не доказывает, что Бога нет. Он говорит, что даже если Бог есть, он возвращает входной билет.

Это и есть иск, который предъявлен в «Бунте». Поэма о Великом инквизиторе — вторая часть того же иска: если свободы, которую дал Христос, человек не выносит, то дар её был жестокостью, а те, кто отнял её обратно и накормил людей, оказались милосерднее.

Слова «всё позволено» запомнить важнее всего остального. Их услышит Смердяков.

Кого ещё встретите по имени

В напечатанных главах мелькают люди, к доводу не относящиеся. Чтобы они не сбивали: **Катерина Ивановна Верховцева** — невеста Дмитрия, девушка гордая и несчастная. Иван в неё влюблён и молчит об этом; она это знает. В четвёртой части она появится как причина, по которой Иван ходил к Смердякову.

Грушенька (Аграфена Александровна Светлова) — женщина, за которой ходят и отец, и Дмитрий. В нашем томе почти не встречается, но вся вражда отца с сыном держится на ней.

Отец Паисий, отец Ферапонт — монахи; первый — ближайший к Зосиме, второй — его противник из ревнителей.

Лиза Хохлакова — больная девочка, влюблённая в Алёшу.

Герценштубе, Варвинский — городские врачи.

О конце романа — можно отложить

Четвёртая часть этого тома, «Черт. Кошмар Ивана Федоровича», стоит в романе уже после убийства, и без знания о нём она не читается. Поэтому дальше сказано, чем дело кончается. Кто хочет сначала прочесть роман целиком, пусть пропустит этот раздел и вернётся к нему перед четвёртой частью.

Фёдор Павлович Карамазов убит в своём доме. Обвинён Дмитрий: он в ту ночь был у отца в саду, кричал, что убьёт, и все улики сходятся на нём. Идёт следствие, потом суд, и суд его осудит.

Убил не он. Убил Смердяков — и убил, усвоив мысль Ивана. Он объясняет это Ивану прямо: раз Бога нет и всё позволено, то и он, Смердяков, поступил по его же науке, а Иван, уехав из города накануне, дал на это молчаливое согласие. Иван не заказывал убийства. Но он не может доказать себе, что не желал его.

Разговор со Смердяковым — та самая встреча, после которой Иван возвращается домой, садится на диван, и в комнате оказывается гость. Что это за гость — читатель поймёт сразу, а Иван будет до конца спорить, есть ли он.

Глава кончается тем, что в окно стучит Алёша и говорит, что Смердяков повесился.

Дальше в романе — суд над Дмитрием, его приговор и последние страницы, к нашему доводу уже не относящиеся. На этом мы и останавливаемся.

От издателей.

Как читать эту книгу

В этом томе два слоя, и они разделены нарочно.

Первый слой — **текст Достоевского**: четыре части, напечатанные целиком и подряд, без вставок и без комментария внутри. Второй слой — **двадцать один ключ**, стоящий после текста отдельным разделом. Ни одна наша строка не попадает в текст: всё, что мы хотим сказать, сказано до него или после.

Три порядка чтения

Подряд. Прочитать четыре части как одну вещь — от иска Ивана до ночи с гостем, — и только потом взяться за ключи. Так довод Достоевского разворачивается на полную силу, без остановок, и это главный способ, под который книга собрана.

По частям. Прочитать часть текста, затем относящиеся к ней ключи, затем следующую часть. Ключи идут в том же порядке, что текст, и разбиты на семь частей, соответствующих ходу довода, так что потеряться нельзя. Способ медленнее и годится, если роман вам незнаком.

Только поэму. Прочитать одну главу «Великий инквизитор» и ключи с четвёртого по восемнадцатый. Мы этого не советуем — весь этот том собран против такого чтения, — но если вы пришли за поэмой и только за ней, то по крайней мере возьмите перед ней «Бунт»: без иска, на который она отвечает, половина её смысла остаётся за обложкой.

Что стоит в ключе

Каждый ключ устроен одинаково, и строки в нём всегда идут в одном порядке.

Фрагмент — место текста, о котором идёт речь, приведённое дословно по напечатанному в этом же томе. Проверить нас можно, не выходя из книги.

Место в поэме — несколько строк о том, где мы находимся и что только что произошло. В ключах по Еноху и «Книге мёртвых» эта строка называлась «Сцена»; здесь сцен нет, монолог Инквизитора непрерывен, и ориентироваться приходится по ходу довода, а не по действию.

Шесть традиций — каббала, суфизм, веданта, даосизм, герметизм и юнгианская психология, всегда в этом порядке. У каждой свой подзаголовок: это не шесть пересказов одного и того же, а шесть разных утверждений, и подзаголовок называет, какое именно.

Кто здесь судит — одна строка. Она ведёт сквозную линию всей книги: место судьи в этом процессе переходит из рук в руки, и к последнему ключу остаётся свободным. Если читать только эту строку от первого ключа до двадцать первого, получится отдельное короткое чтение, и оно, пожалуй, самое важное в томе.

Синтез — и здесь надо предупредить. Синтез в этой книге не значит согласия. Шесть голосов расходятся по существу: веданта и герметизм в ряде мест встают на сторону Инквизитора, даосизм цитируется на обе стороны, каббала и Юнг — за поцелуй. Строка «Синтез» называет, в чём именно они не сошлись и что из этого следует, а не сводит их к общему знаменателю. Там, где разногласие неустранимо, так и написано.

Практика — вопрос, с которым предлагается выйти из ключа. Не упражнение, не задание и не духовная техника: в этой книге практика почти всегда об одном — где вы сами, не в Севилье и не в шестнадцатом веке, отдали выбор за спокойствие и кто взял его у вас. Можно пропускать. Но если пропустить все двадцать один, книга окажется прочитанной не до конца.

Чего в этой книге нет

Приговора. Мы не решаем, прав ли Инквизитор. Довод доведён до того места, где решать приходится читателю, и дальше этого места книга не идёт.

Утверждения о влиянии. Достоевский не читал Зогара, не знал упанишад и умер за тридцать лет до первой работы Юнга. Шесть традиций здесь не источники, а инструменты; подробнее об этом сказано во введении, и это стоит прочесть прежде ключей, иначе весь разбор будет понят наоборот.

Пересказа романа. Если «Братья Карамазовы» вам незнакомы, прочтите сначала главу «Что нужно знать до Инквизитора»: там на нескольких страницах собрано необходимое, и в самом конце отдельно, с предупреждением, — то, чем роман кончается.

О согласии

Соглашаться со всеми шестью голосами нельзя: они друг другу противоречат. Это не изъян книги, а её устройство. Читателю, который дойдёт до двадцать первого ключа и обнаружит, что две традиции из шести остались на стороне старика, не нужно искать, где мы ошиблись. Мы не ошиблись. Там действительно есть что сказать в его защиту — и Достоевский, отдавший ему все лучшие слова в главе, знал это лучше нас.

От издателей.

Бунт

От издателей.

Второй день действия романа, вечер. Алёша искал старшего брата Дмитрия, не нашёл и в трактире «Столичный город» встретил Ивана. Садятся за уху и варенье.

Это их первый настоящий разговор за всю жизнь. Выросли братья врозь, по чужим домам, в одном городе оказались несколько дней назад и до этого вечера друг друга не знают. Иван собирается уезжать — так он говорит — и, зная, что уезжает, решает высказаться до конца.

Предыдущая глава, которую мы не печатаем, называется «Братья знакомятся». В ней Иван успел сказать, что любит жизнь не умом, а утробой, по-карамазовски, и что годам к тридцати разобьёт кубок об пол. Сразу за этими словами начинается «Бунт».

На что стоит смотреть. Иван в этой главе не доказывает, что Бога нет, и ни разу этого не утверждает. Он прямо говорит, что Бога принимает, — и именно оттуда, с этого признания, начинается самое трудное. Его отказ не атеистический; он нравственный, и потому возразить на него тем, что Бог всё-таки есть, невозможно.

Книга пятая, IV

— Я тебе должен сделать одно признание, — начал Иван: — я никогда не мог понять, как можно любить своих ближних. Именно ближних-то, по-моему, и невозможно любить, а разве лишь дальних. Я читал вот как-то и где-то про «Иоанна Милостивого» (одного святого), что он, когда к нему пришел голодный и обмерзший прохожий и попросил согреть его, лег с ним вместе в постель, обнял его и начал дышать ему в гноящийся и зловонный от какой-то ужасной болезни рот его. Я убежден, что он это сделал с надрывом лжи, из-за заказанной долгом любви, из-за натащенной на себя эпитимии. Чтобы полюбить человека, надо, чтобы тот спрятался, а чуть лишь покажет лицо свое — пропала любовь.

— Об этом не раз говорил старец Зосима, — заметил Алеша, — он тоже говорил, что лицо человека часто многим еще неопытным в любви людям мешает любить. Но ведь есть и много любви в человечестве, и почти подобной Христовой любви, это я сам знаю, Иван...

— Ну я-то пока еще этого не знаю и понять не могу, и бесчисленное множество людей со мной тоже. Вопрос ведь в том, от дурных ли качеств людей это происходит, или уж оттого, что такова их натура. По-моему, Христова любовь к людям есть в своем роде невозможное на земле чудо. Правда, он был Бог. Но мы-то не боги. Положим, я, например, глубоко могу страдать, но другой никогда ведь не может узнать, до какой степени я страдаю, потому что он другой, а не я, и, сверх того, редко человек согласится признать другого за страдальца (точно будто это чин). Почему не согласится, как ты думаешь? Потому, например, что от меня дурно пахнет, что у меня глупое лицо, потому что я раз когда-то отдал ему ногу. К тому же страдание и страдание: унижительное страдание, унижающее меня, голод например, еще допустит во мне мой благодетель, но чуть повыше страдание, за идею например, нет, он это в редких разве случаях допустит, потому что он, например, посмотрит на меня и вдруг увидит, что у меня вовсе не то лицо, какое, по его фантазии, должно бы быть у человека, страдающего за такую-то, например, идею. Вот он и лишает меня сейчас же своих благодетельств и даже вовсе не от злого сердца. Нищие, особенно благородные нищие, должны бы были наружу никогда не показываться, а просить милостыню чрез газеты. Отвлеченно еще можно любить ближнего и даже иногда издали, но вблизи почти никогда. Если бы все было как на сцене, в балете, где нищие, когда они появляются, приходят в шелковых лохмотьях и рваных кружевах и просят милостыню, грациозно танцуя, ну тогда еще можно любоваться ими. Любоваться, но все-таки не любить. Но довольно об этом. Мне надо было лишь поставить тебя на мою точку. Я хотел

заговорить о страдании человечества вообще, но лучше уж остановимся на страданиях одних детей. Это уменьшит размеры моей аргументации раз в десять, но лучше уж про одних детей. Тем не выгоднее для меня, разумеется. Но, во-первых, деток можно любить даже и вблизи, даже и грязных, даже дурных лицом (мне, однако же, кажется, что детки никогда не бывают дурны лицом). Во-вторых, о больших я и потому еще говорить не буду, что, кроме того, что они отвратительны и любви не заслуживают, у них есть и возмездие: они съели яблоко и познали добро и зло и стали «яко бози». Продолжают и теперь есть его. Но деточки ничего не съели и пока еще ни в чем не виновны. Любишь ты деток, Алеша? Знаю, что любишь, и тебе будет понятно, для чего я про них одних хочу теперь говорить. Если они на земле тоже ужасно страдают, то уж, конечно, за отцов своих, наказаны за отцов своих, съевших яблоко, – но ведь это рассуждение из другого мира, сердцу же человеческому здесь на земле непонятное. Нельзя страдать неповинному за другого, да еще такому неповинному! Подивись на меня, Алеша, я тоже ужасно люблю деточек. И заметь себе, жестокие люди, страстные, плотоядные, карамазовцы, иногда очень любят детей. Дети, пока дети, до семи лет например, страшно отстоят от людей: совсем будто другое существо и с другою природой. Я знал одного разбойника в остроге: ему случалось в свою карьеру, избивая целые семейства в домах, в которые забирался по ночам для грабежа, зарезать заодно несколько и детей. Но, сидя в остроге, он их до странности любил. Из окна острога он только и делал, что смотрел на играющих на тюремном дворе детей. Одного маленького мальчика он приучил приходить к нему под окно, и тот очень сдружился с ним... Ты не знаешь, для чего я это все говорю, Алеша? У меня как-то голова болит, и мне грустно.

– Ты говоришь с странным видом, – с беспокойством заметил Алеша, – точно ты в каком безумии.

– Кстати, мне недавно рассказывал один болгарин в Москве, – продолжал Иван Федорович, как бы и не слушая брата, – как турки и черкесы там у них, в Болгарии, повсеместно злодействуют, опасаясь поголовного восстания славян, – то есть жгут, режут, насилюют женщин и детей, прибивают арестантам уши к забору гвоздями и оставляют так до утра, а поутру вешают – и проч., всего и вообразить невозможно. В самом деле, выражаются иногда про «зверскую» жестокость человека, но это страшно несправедливо и обидно для зверей: зверь никогда не может быть так жесток, как человек, так артистически, так художественно жесток. Тигр просто грызет, рвет и только это и умеет. Ему и в голову не вошло бы прибивать людей за уши на ночь гвоздями, если б он даже и мог это сделать. Эти турки, между прочим, с сладострастием мучили и детей, начиная с вырезания их кинжалом из чрева матери, до бросания вверх грудных младенцев и подхватывания их на штык в глазах матерей. На глазах-то матерей и составляло главную сладость. Но вот, однако, одна меня сильно заинтересовавшая картинка. Представь: грудной младенец на руках трепещущей матери, кругом вошедшие турки. У них затеялась веселая штучка: они ласкают младенца, смеются, чтоб его рассмешить, им удастся, младенец рассмеялся. В эту минуту турок наводит на него пистолет в четырех вершках расстояния от его лица. Мальчик радостно хохочет, тянется ручонками, чтоб схватить пистолет, и вдруг артист спускает курок прямо ему в лицо и раздробляет ему головку... Художественно, не правда ли? Кстати, турки, говорят, очень любят сладкое.

– Брат, к чему это все? – спросил Алеша.

– Я думаю, что если дьявол не существует и, стало быть, создал его человек, то создал он его по своему образу и подобию.

– В таком случае, равно как и Бога.

– А ты удивительно как умеешь оборачивать словечки, как говорит Полоний в «Гамлете», – засмеялся Иван. – Ты поймал меня на слове, пусть, я рад. Хорош же твой Бог, коль его создал человек по своему образу и подобию. Ты спросил сейчас, для чего я это все: я, видишь ли, любитель и собиратель некоторых фактиков и, веришь ли, записываю и собираю из газет и рассказов, откуда попало, некоторого рода анекдотики, и у меня уже хорошая коллекция.

Турки, конечно, вошли в коллекцию, но это всё иностранцы. У меня есть и родные штучки и даже получше турецких. Знаешь, у нас больше битье, больше розга и плеть, и это национально: у нас прибитые гвоздями уши немислимы, мы все-таки европейцы, но розги, но плеть – это нечто уже наше и не может быть у нас отнято. За границей теперь как будто и не бьют совсем, нравы, что ли, очистились, али уж законы такие устроились, что человек человека как будто уж и не смеет посечь, но зато они вознаградили себя другим и тоже чисто национальным, как и у нас, и до того национальным, что у нас оно как будто и невозможно, хотя, впрочем, кажется, и у нас прививается, особенно со времени религиозного движения в нашем высшем обществе. Есть у меня одна прелестная брошюрка, перевод с французского, о том, как в Женеве, очень недавно, всего лет пять тому, казнили одного злодея и убийцу, Ришара, двадцатитрехлетнего, кажется, малого, раскаявшегося и обратившегося к христианской вере пред самым эшафотом. Этот Ришар был чей-то незаконнорожденный, которого еще младенцем лет шести подарили родители каким-то горным швейцарским пастухам, и те его взрастили, чтоб употреблять в работу. Рос он у них как дикий зверенок, не научили его пастухи ничему, напротив, семи лет уже посылали пасти стадо, в мокреть и в холод, почти без одежды и почти не кормя его. И уж конечно, так делая, никто из них не задумывался и не раскаивался, напротив, считал себя в полном праве, ибо Ришар подарен им был как вещь, и они даже не находили необходимым кормить его. Сам Ришар свидетельствует, что в те годы он, как блудный сын в Евангелии, желал ужасно поест хоть того месива, которое давали откармливаемым на продажу свиньям, но ему не давали даже и этого и били, когда он крал у свиней, и так провел он все детство свое и всю юность, до тех пор пока возрос и, укрепившись в силах, пошел сам воровать. Дикарь стал добывать деньги поденною работой в Женеве, добытое пропивал, жил как изверг и кончил тем, что убил какого-то старика и ограбил. Его схватили, судили и присудили к смерти. Там ведь не сентиментальничают. И вот в тюрьме его немедленно окружают пасторы и члены разных Христовых братств, благотворительные дамы и проч. Научили они его в тюрьме читать и писать, стали толковать ему Евангелие, усовещевали, убеждали, напирали, пилили, давили, и вот он сам торжественно сознается наконец в своем преступлении. Он обратился, он написал сам суду, что он изверг и что наконец-таки он удостоился того, что и его озарил Господь и послал ему благодать. Все взволновалось в Женеве, вся благотворительная и благочестивая Женева. Все, что было высшего и благовоспитанного, ринулось к нему в тюрьму; Ришара целуют, обнимают: «Ты брат наш, на тебя сошла благодать!» А сам Ришар только плачет в умилении: «Да, на меня сошла благодать! Прежде я все детство и юность мою рад был корму свиней, а теперь сошла и на меня благодать, умираю во Господе!» – «Да, да, Ришар, умри во Господе, ты пролил кровь и должен умереть во Господе. Пусть ты невиновен, что не знал совсем Господа, когда завидовал корму свиней и когда тебя били за то, что ты крал у них корм (что ты делал очень нехорошо, ибо красть не позволено), – но ты пролил кровь и должен умереть». И вот наступает последний день. Расслабленный Ришар плачет и только и делает, что повторяет ежеминутно: «Это лучший из дней моих, я иду к Господу!» – «Да, – кричат пасторы, судьи и благотворительные дамы, – это счастливейший день твой, ибо ты идешь к Господу!» Все это двигается к эшафоту вслед за позорною колесницей, в которой везут Ришара, в экипажах, пешком. Вот достигли эшафота: «Умри, брат наш, – кричат Ришару, – умри во Господе, ибо и на тебя сошла благодать!» И вот покрытого поцелуями братьев брата Ришара втащили на эшафот, положили на гильотину и оттяпали-таки ему по-братски голову за то, что и на него сошла благодать. Нет, это характерно. Брошюрка эта переведена по-русски какими-то русскими лютеранствующими благотворителями высшего общества и разослана для просвещения народа русского при газетах и других изданиях даром. Штука с Ришаром хороша тем, что национальна. У нас хоть нелепо рубить голову брату потому только, что он стал нам брат и что на него сошла благодать, но, повторяю, у нас есть свое, почти что не хуже. У нас историческое, непосредственное и ближайшее наслаждение истязанием битья. У Некрасова есть стихи о том, как мужик сечет

лошадь кнутом по глазам, «по кротким глазам». Этого кто ж не видал, это русизм. Он описывает, как слабосильная лошаденка, на которую навалили слишком, завязла с возом и не может вытащить. Мужик бьет ее, бьет с остервенением, бьет, наконец, не понимая, что делает, в опьянении битья сечет больно, бесчисленно: «Хоть ты и не в силах, а вези, умри, да вези!» Клячонка рвется, и вот он начинает сечь ее, беззащитную, по плачущим, по «кротким глазам». Вне себя она рванула и вывезла и пошла, вся дрожа, не дыша, как-то боком, с какою-то припрыжкой, как-то неестественно и позорно – у Некрасова это ужасно. Но ведь это всего только лошадь, лошадей и сам Бог дал, чтоб их сечь. Так татары нам растолковали и кнут на память подарили. Но можно ведь сечь и людей. И вот интеллигентный образованный господин и его дама секут собственную дочку, младенца семи лет, розгами – об этом у меня подробно записано. Папенька рад, что прутья с сучками, «садче будет», говорит он, и вот начинает «сажать» родную дочь. Я знаю наверно, есть такие секущие, которые разгорячаются с каждым ударом до сладострастия, до буквального сладострастия, с каждым последующим ударом все больше и больше, все прогрессивнее. Секут минуту, секут, наконец, пять минут, секут десять минут, дальше, больше, чаще, садче. Ребенок кричит, ребенок, наконец, не может кричать, задыхается: «Папа, папа, папочка, папочка!» Дело каким-то чертовым неприличным случаем доходит до суда. Нанимается адвокат. Русский народ давно уже называл у нас адвоката – «аблакат – нанятая совесть». Адвокат кричит в защиту своего клиента. «Дело, дескать, такое простое, семейное и обыкновенное, отец посек дочку, и вот, к стыду наших дней, дошло до суда!» Убежденные присяжные удаляются и выносят оправдательный приговор. Публика ревет от счастья, что оправдали мучителя. Э-эх, меня не было там, я бы рявкнул предложение учредить стипендию в честь имени истязателя!.. Картинки прелестные. Но о детках есть у меня и еще получше, у меня очень, очень много собрано о русских детках, Алеша. Девчоночку маленькую, пятилетнюю, возненавидели отец и мать, «почтеннейшие и чиновные люди, образованные и воспитанные». Видишь, я еще раз положительно утверждаю, что есть особенное свойство у многих в человечестве – это любовь к истязанию детей, но одних детей. Ко всем другим субъектам человеческого рода эти же самые истязатели относятся даже благосклонно и кротко, как образованные и гуманные европейские люди, но очень любят мучить детей, любят даже самих детей в этом смысле. Тут именно незащищенность-то этих созданий и соблазняет мучителей, ангельская доверчивость дитяти, которому некуда деться и не к кому идти, – вот это-то и распаляет гадкую кровь истязателя. Во всяком человеке, конечно, таится зверь, зверь гневливости, зверь сладострастной распаляемости от криков истязуемой жертвы, зверь без удержу, спущенного с цепи, зверь нажитых в разврате болезней, подагр, больных печенок и проч. Эту бедную пятилетнюю девочку эти образованные родители подвергали всевозможным истязаниям. Они били, секли, пинали ее ногами, не зная сами за что, обратили все тело ее в синяки; наконец дошли и до высшей утонченности: в холод, в мороз запирали ее на всю ночь в отхожее место, и за то, что она не просилась ночью (как будто пятилетний ребенок, спящий своим ангельским крепким сном, еще может в эти лета научиться проситься), – за это обмазывали ей все лицо ее калом и заставляли ее есть этот кал, и это мать, мать заставляла! И эта мать могла спать, когда ночью слышались стоны бедного ребеночка, запертого в подлом месте! Понимаешь ли ты это, когда маленькое существо, еще не умеющее даже осмыслить, что с ней делается, бьет себя в подлом месте, в темноте и в холоде, крошечным своим кулачком в надорванную грудку и плачет своими кровавыми, незлобивыми, кроткими слезками к «Боженьке», чтобы тот защитил его, – понимаешь ли ты эту ахиною, друг мой и брат мой, послушник ты мой Божий и смиренный, понимаешь ли ты, для чего эта ахиная так нужна и создана! Без нее, говорят, и пробыть бы не мог человек на земле, ибо не познал бы добра и зла. Для чего познавать это чертово добро и зло, когда это столького стоит? Да ведь весь мир познания не стоит тогда этих слезок ребеночка к «Боженьке». Я не говорю про страдания больших, те яблоко съели, и черт с ними, и

пусть бы их всех черт взял, но эти, эти! Мучаю я тебя, Алешка, ты как будто бы не в себе. Я перестану, если хочешь.

– Ничего, я тоже хочу мучиться, – пробормотал Алеша.

– Одну, только одну еще картинку, и то из любопытства, очень уж характерная, и главное, только что прочел в одном из сборников наших древностей, в «Архиве», в «Старине», что ли, надо справиться, забыл даже, где и прочел. Это было в самое мрачное время крепостного права, еще в начале столетия, и да здравствует освободитель народа! Был тогда в начале столетия один генерал, генерал со связями большими и богатейший помещик, но из таких (правда, и тогда уже, кажется, очень немногих), которые, удаляясь на покой со службы, чуть-чуть не бывали уверены, что выслужили себе право на жизнь и смерть своих подданных. Такие тогда бывали. Ну вот живет генерал в своем поместье в две тысячи душ, чванится, третирует мелких соседей как приживальщиков и шутов своих. Псарня с сотнями собак и чуть не сотня псарей, все в мундирах, все на конях. И вот дворовый мальчик, маленький мальчик, всего восьми лет, пустил как-то, играя, камнем и зашиб ногу любимой генеральской гончей. «Почему собака моя любимая охромела?» Докладывают ему, что вот, дескать, этот самый мальчик камнем в нее пустил и ногу ей зашиб. «А, это ты, – оглядел его генерал, – взять его!» Взяли его, взяли у матери, всю ночь просидел в кутузке, наутро чем свет выезжает генерал во всем параде на охоту, сел на коня, кругом него приживальщики, собаки, псари, ловчие, все на конях. Вокруг собрана дворня для назидания, а впереди всех мать виновного мальчика. Выводят мальчика из кутузки. Мрачный, холодный, туманный осенний день, знатный для охоты. Мальчика генерал велит раздеть, ребеночка раздевают всего донага, он дрожит, обезумел от страха, не смеет пикнуть... «Гони его!» – командует генерал. «Беги, беги!» – кричат ему псари, мальчик бежит... «Ату его!» – вопит генерал и бросает на него всю стаю борзых собак. Затравил в глазах матери, и псы растерзали ребенка в клочки!.. Генерала, кажется, в опеку взяли. Ну... что же его? Расстрелять? Для удовлетворения нравственного чувства расстрелять? Говори, Алешка!

– Расстрелять! – тихо проговорил Алеша, с бледною, перекосившеюся какою-то улыбкой подняв взор на брата.

– Bravo! – завопил Иван в каком-то восторге, – уж коли ты сказал, значит... Ай да схимник! Так вот какой у тебя бесенок в сердечке сидит, Алешка Карамазов!

– Я сказал нелепость, но...

– То-то и есть, что но... – кричал Иван. – Знай, послушник, что нелепости слишком нужны на земле. На нелепостях мир стоит, и без них, может быть, в нем совсем ничего бы и не произошло. Мы знаем, что знаем!

– Что ты знаешь?

– Я ничего не понимаю, – продолжал Иван как бы в бреду, – я и не хочу теперь ничего понимать. Я хочу оставаться при факте. Я давно решил не понимать. Если я захочу что-нибудь понимать, то тотчас же изменю факту, а я решил оставаться при факте...

– Для чего ты меня испытываешь? – с надрывом горестно воскликнул Алеша, – скажешь ли мне наконец?

– Конечно, скажу, к тому и вел, чтобы сказать. Ты мне дорог, я тебя упустить не хочу и не уступлю твоему Зосиме.

Иван помолчал с минуту, лицо его стало вдруг очень грустно.

– Слушай меня: я взял одних деток для того, чтобы вышло очевиднее. Об остальных следах человеческих, которыми пропитана вся земля от коры до центра, я уж ни слова не говорю, я тему мою нарочно сузил. Я клоп и признаю со всем принижением, что ничего не могу понять, для чего все так устроено. Люди сами, значит, виноваты: им дан был рай, они захотели свободы и похитили огонь с небеси, сами зная, что станут несчастны, значит, нечего их жалеть. О, по моему, по жалкому, земному эвклидовскому уму моему, я знаю лишь то, что страдание есть, что виновных нет, что все одно из другого выходит прямо и просто, что все течет и уравни-

шивается, – но ведь это лишь эвклидовская дичь, ведь я знаю же это, ведь жить по ней я не могу же согласиться! Что мне в том, что виновных нет и что я это знаю, – мне надо возмездие, иначе ведь я истреблю себя. И возмездие не в бесконечности где-нибудь и когда-нибудь, а здесь, уже на земле, и чтоб я его сам увидел. Я веровал, я хочу сам и видеть, а если к тому часу буду уже мертв, то пусть воскресят меня, ибо если все без меня произойдет, то будет слишком обидно. Не для того же я страдал, чтобы собой, злодействами и страданиями моими унавожить кому-то будущую гармонию. Я хочу видеть своими глазами, как лань ляжет подле льва и как зарезанный встанет и обнимется с убившим его. Я хочу быть тут, когда все вдруг узнают, для чего все так было. На этом желании зиждутся все религии на земле, а я верую. Но вот, однако же, детки, и что я с ними стану тогда делать? Это вопрос, который я не могу решить. В сотый раз повторяю – вопросов множество, но я взял одних деток, потому что тут неотразимо ясно то, что мне надо сказать. Слушай: если все должны страдать, чтобы страданием купить вечную гармонию, то при чем тут дети, скажи мне, пожалуйста? Совсем непонятно, для чего должны были страдать и они, и зачем им покупать страданиями гармонию? Для чего они-то тоже попали в материал и унавожили собою для кого-то будущую гармонию? Солидарность в грехе между людьми я понимаю, понимаю солидарность и в возмездии, но не с детками же солидарность в грехе, и если правда в самом деле в том, что и они солидарны с отцами их во всех злодействах отцов, то уж, конечно, правда эта не от мира сего и мне непонятна. Иной шутник скажет, пожалуй, что все равно дитя вырастет и успеет нагрешить, но вот же он не вырос, его восьмилетнего заравили собаками. О, Алеша, я не богохульствую! Понимаю же я, каково должно быть сотрясение вселенной, когда все на небе и под землею сольется в один хвалебный глас и все живое и жившее воскликнет: «Прав ты, Господи, ибо открылись пути твои!» Уж когда мать обнимется с мучителем, растерзавшим псами сына ее, и все трое возгласят со слезами: «Прав ты, Господи», то уж, конечно, настанет венец познания и все объяснится. Но вот тут-то и запятая, этого-то я и не могу принять. И пока я на земле, я спешу взять свои меры. Видишь ли, Алеша, ведь, может быть, и действительно так случится, что когда я сам доживу до того момента али воскресну, чтоб увидеть его, то и сам я, пожалуй, воскликну со всеми, смотря на мать, обнявшуюся с мучителем ее дитяти: «Прав ты, Господи!», но я не хочу тогда восклицать. Пока еще время, спешу оградить себя, а потому от высшей гармонии совершенно отказываюсь. Не стоит она слезинки хотя бы одного только замученного ребенка, который бил себя кулачком в грудь и молился в зловонной конуре своей неискупленными слезками своими к «Боженьке»! Не стоит потому, что слезки его остались неискупленными. Они должны быть искуплены, иначе не может быть и гармонии. Но чем, чем ты искупишь их? Разве это возможно? Неужто тем, что они будут отомщены? Но зачем мне их отмщение, зачем мне ад для мучителей, что тут ад может поправить, когда те уже замучены? И какая же гармония, если ад: я простить хочу и обнять хочу, я не хочу, чтобы страдали больше. И если страдания детей пошли на пополнение той суммы страданий, которая необходима была для покупки истины, то я утверждаю заранее, что вся истина не стоит такой цены. Не хочу я, наконец, чтобы мать обнималась с мучителем, растерзавшим ее сына псами! Не смеет она прощать ему! Если хочет, пусть простит за себя, пусть простит мучителю материнское безмерное страдание свое; но страдания своего растерзанного ребенка она не имеет права простить, не смеет простить мучителя, хотя бы сам ребенок простил их ему! А если так, если они не смеют простить, где же гармония? Есть ли во всем мире существо, которое могло бы и имело право простить? Не хочу гармонии, из-за любви к человечеству не хочу. Я хочу оставаться лучше со страданиями неотомщенными. Лучше уж я останусь при неотомщенном страдании моем и неутоленным негодованием моем, хотя бы я был и неправ. Да и слишком дорого оценили гармонию, не по карману нашему вовсе столько платить за вход. А потому свой билет на вход спешу возвратить обратно. И если только я честный человек, то обязан возвратить его как можно заранее. Это и делаю. Не Бога я не принимаю, Алеша, я только билет ему почтительнейше возвращаю.

– Это бунт, – тихо и потупившись проговорил Алеша.

– Бунт? Я бы не хотел от тебя такого слова, – проникновенно сказал Иван. – Можно ли жить бунтом, а я хочу жить. Скажи мне сам прямо, я зову тебя – отвечай: представь, что это ты сам возводишь здание судьбы человеческой с целью в финале осчастливить людей, дать им наконец мир и покой, но для этого необходимо и неминуемо предстояло бы замучить всего лишь одно только крохотное созданище, вот того самого ребеночка, бывшего себя кулачком в грудь, и на неотомщенных слезках его основать это здание, согласился ли бы ты быть архитектором на этих условиях, скажи и не лги!

– Нет, не согласился бы, – тихо проговорил Алеша.

– И можешь ли ты допустить идею, что люди, для которых ты строишь, согласились бы сами принять свое счастье на неоправданной крови маленького замученного, а приняв, остаться навеки счастливыми?

– Нет, не могу допустить. Брат, – проговорил вдруг с засверкавшими глазами Алеша, – ты сказал сейчас: есть ли во всем мире существо, которое могло бы и имело право простить? Но существо это есть, и оно может все простить, всех и вся и за всё, потому что само отдало неповинную кровь свою за всех и за всё. Ты забыл о нем, а на нем-то и создается здание, и это ему воскликнут: «Прав ты, Господи, ибо открылись пути твои».

– А, это «единый безгрешный» и его кровь! Нет, не забыл о нем и удивлялся, напротив, все время, как ты его долго не выводишь, ибо обыкновенно в спорах все ваши его выставляют прежде всего. Знаешь, Алеша, ты не смейся, я когда-то сочинил поэму, с год назад. Если можешь потерять со мной еще минут десять, то я б ее тебе рассказал?

– Ты написал поэму?

– О нет, не написал, – засмеялся Иван, – и никогда в жизни я не сочинил даже двух стихов. Но я поэму эту выдумал и запомнил. С жаром выдумал. Ты будешь первый мой читатель, то есть слушатель. Зачем в самом деле автору терять хоть единого слушателя, – усмехнулся Иван. – Рассказывать или нет?

– Я очень слушаю, – произнес Алеша.

– Поэма моя называется «Великий инквизитор», вещь нелепая, но мне хочется ее тебе сообщить.

Великий инквизитор

От издателей.

Пауза между частями здесь только наша: у Достоевского Иван продолжает говорить, не переводя дыхания, и поэма начинается со следующей его реплики.

Поэма не написана. Иван сочинил её когда-то в голове, никогда не записывал и теперь пересказывает вслух, на ходу, одному слушателю. Это надо держать в уме всё время: перед нами не текст, а исполнение, со всеми оговорками, смешками и перебоями, какие бывают, когда человек защищает свою вещь, пока её произносит.

Действие — Севилья шестнадцатого века, на другой день после того, как сожгли почти сотню еретиков. Христос возвращается на землю молча. Он не скажет в поэме ни одного слова: девяносто процентов главы — речь одного человека, которому никто не отвечает.

На что стоит смотреть. На три вещи, в которых Инквизитор признаётся, — и на то, в каком порядке он их называет. И на одну фразу, в которой он перестаёт обвинять и начинает исповедоваться; её нетрудно пропустить, потому что сказана она между прочим, а именно она переворачивает всю главу.

Книга пятая, V

— Ведь вот и тут без предисловия невозможно, то есть без литературного предисловия, тьфу! — засмеялся Иван, — а какой уж я сочинитель! Видишь, действие у меня происходит в шестнадцатом столетии, а тогда, — тебе, впрочем, это должно быть известно еще из классов, — тогда как раз было в обычае сводить в поэтических произведениях на землю горние силы. Я уж про Данта не говорю. Во Франции судейские клерки, а тоже и по монастырям монахи давали целые представления, в которых выводили на сцену Мадонну, ангелов, святых, Христа и самого Бога. Тогда все это было очень простодушно. В «Notre Dame de Paris»¹ у Виктора Гюго в честь рождения французского дофина, в Париже, при Людовике XI, в зале ратуши дается назидательное и даровое представление народу под названием: «Le bon jugement de la très sainte et gracieuse Vierge Marie»², где и является она сама лично и произносит свой bon jugement³. У нас в Москве, в допетровскую старину, такие же почти драматические представления, из Ветхого Завета особенно, тоже совершались по временам; но, кроме драматических представлений, по всему миру ходило тогда много повестей и «стихов», в которых действовали по надобности святые, ангелы и вся сила небесная. У нас по монастырям занимались тоже переводами, списыванием и даже сочинением таких поэм, да еще когда — в татарщину. Есть, например, одна монастырская поэмка (конечно, с греческого): «Хождение Богородицы по мукам», с картинами и со смелостью не ниже дантовских. Богоматерь посещает ад, и руководит ее «по мукам» архангел Михаил. Она видит грешников и мучения их. Там есть, между прочим, один презанимательный разряд грешников в горящем озере: которые из них погружаются в это озеро так, что уж и выплыть более не могут, то «тех уже забывает Бог» — выражение чрезвычайной глубины и силы. И вот, пораженная и плачущая Богоматерь падает пред престолом Божиим и просит всем во аде помилования, всем, которых она видела там, без различия. Разговор ее с Богом колоссально интересен. Она умоляет, она не отходит, и когда Бог указывает ей на пригвожденные руки и ноги ее сына и спрашивает: как я прошу его мучителей,

¹ «Notre Dame de Paris» — «Собор Парижской Богородицы» (фр.). Роман Виктора Гюго, 1831. Мистерию, которую Иван называет следом, играют в этом романе.

² «Le bon jugement de la très sainte et gracieuse Vierge Marie» — «Милосердный суд пресвятой и всемилостивой Девы Марии» (фр.).

³ произносит свой bon jugement — свой милосердный суд (фр.).

— то она велит всем святым, всем мученикам, всем ангелам и архангелам пасть вместе с нею и молить о помиловании всех без разбора. Кончается тем, что она вымаливает у Бога остановку мук на всякий год от Великой Пятницы до Троицына дня, а грешники из ада тут же благодарят Господа и вопиют к нему: «Прав ты, Господи, что так судил». Ну вот и моя поэмка была бы в том же роде, если б явилась в то время. У меня на сцене является он; правда, он ничего и не говорит в поэме, а только появляется и проходит. Пятнадцать веков уже минуло тому, как он дал обетование прийти во царствии своем, пятнадцать веков, как пророк его написал: «Се гряду скоро». «О дне же сем и часе не знает даже и Сын, токмо лишь Отец мой небесный», как изрек он и сам еще на земле. Но человечество ждет его с прежнею верой и с прежним умилением. О, с большею даже верой, ибо пятнадцать веков уже минуло с тех пор, как прекратились залогов с небес человеку:

Верь тому, что сердце скажет,

Нет залогов от небес.

И только одна лишь вера в сказанное сердцем! Правда, было тогда и много чудес. Были святые, производившие чудесные исцеления; к иным праведникам, по жизнеописаниям их, сходила сама царица небесная. Но дьявол не дремлет, и в человечестве началось уже сомнение в правдивости этих чудес. Как раз явилась тогда на севере, в Германии, страшная новая ересь. Огромная звезда, «подобная светильнику» (то есть церкви), «пала на источники вод, и стали они горьки». Эти ереси стали богохульно отрицать чудеса. Но тем пламеннее верят оставшиеся верными. Слезы человечества восходят к нему по-прежнему, ждут его, любят его, надеются на него, жаждут пострадать и умереть за него, как и прежде... И вот столько веков молило человечество с верой и пламенем: «Бо Господи явися нам», столько веков взывало к нему, что он, в неизмеримом сострадании своем, возжелал снизойти к молящим. Снисходил, посещал он и до этого иных праведников, мучеников и святых отшельников еще на земле, как и записано в их «житиях». У нас Тютчев, глубоко веровавший в правду слов своих, возвестил, что

Удрученный ношей крестной,

Всю тебя, земля родная,

В рабском виде царь небесный

Исходил благословляя.

Что непременно и было так, это я тебе скажу. И вот он возжелал появиться хоть на мгновение к народу, — к мучающемуся, страдающему, смрадно-грешному, но младенчески любящему его народу. Действие у меня в Испании, в Севилье, в самое страшное время инквизиции, когда во славу Божию в стране ежедневно горели костры и

В великолепных автодафе

Сжигали злых еретиков.

О, это, конечно, было не то сошествие, в котором явится он, по обещанию своему, в конце времен во всей славе небесной и которое будет внезапно, «как молния, блистающая от востока до запада». Нет, он возжелал хоть на мгновение посетить детей своих и именно там, где как раз затрещали костры еретиков. По безмерному милосердию своему он проходит еще раз между людей в том самом образе человеческом, в котором ходил три года между людьми пятнадцать веков назад. Он снисходит на «стогны жаркие» южного города, как раз в котором всего лишь накануне в «великолепном автодафе», в присутствии короля, двора, рыцарей, кардиналов и прелестнейших придворных дам, при многочисленном населении всей Севильи, была сожжена кардиналом великим инквизитором разом чуть не целая сотня еретиков *ad maiorem gloriam*

Dei⁴. Он появился тихо, незаметно, и вот все – странно это – узнают его. Это могло бы быть одним из лучших мест поэмы, то есть почему именно узнают его. Народ непобедимой силой стремится к нему, окружает его, нарастает кругом него, следует за ним. Он молча проходит среди их с тихой улыбкой бесконечного сострадания. Солнце любви горит в его сердце, лучи Света, Просвещения и Силы текут из очей его и, изливаясь на людей, сотрясают их сердца ответною любовью. Он простирает к ним руки, благословляет их, и от прикосновения к нему, даже лишь к одеждам его, исходит целящая сила. Вот из толпы восклицает старик, слепой с детских лет: «Господи, исцели меня, да и я тебя узрю», и вот как бы чешуя сходит с глаз его, и слепой его видит. Народ плачет и целует землю, по которой идет он. Дети бросают пред ним цветы, поют и вопиют ему: «Осанна!» «Это он, это сам он, – повторяют все, – это должен быть он, это никто как он». Он останавливается на паперти Севильского собора в ту самую минуту, когда во храм вносят с плачем детский открытый белый гробик: в нем семилетняя девочка, единственная дочь одного знатного гражданина. Мертвый ребенок лежит весь в цветах. «Он воскресит твое дитя», – кричат из толпы плачущей матери. Вышедший навстречу гроба соборный патер смотрит в недоумении и хмурит брови. Но вот раздается вопль матери умершего ребенка. Она повергается к ногам его: «Если это ты, то воскреси дитя мое!» – восклицает она, простирая к нему руки. Процессия останавливается, гробик опускают на папёрть к ногам его. Он глядит с состраданием, и уста его тихо и еще раз произносят: «Талифа куми» – «и восста девица». Девочка подымается в гробе, садится и смотрит, улыбаясь, удивленными раскрытыми глазками кругом. В руках ее букет белых роз, с которым она лежала в гробу. В народе смятение, крики, рыдания, и вот, в эту самую минуту, вдруг проходит мимо собора по площади сам кардинал великий инквизитор. Это девяностолетний почти старик, высокий и прямой, с иссохшим лицом, со впалыми глазами, но из которых еще светится, как огненная искорка, блеск. О, он не в великолепных кардинальских одеждах своих, в каких красовался вчера пред народом, когда сжигали врагов римской веры, – нет, в эту минуту он лишь в старой, грубой монашеской своей рясе. За ним в известном расстоянии следуют мрачные помощники и рабы его и «священная» стража. Он останавливается пред толпой и наблюдает издали. Он все видел, он видел, как поставили гроб у ног его, видел, как воскресла девица, и лицо его омрачилось. Он хмурит седые густые брови свои, и взгляд его сверкает зловещим огнем. Он простирает перст свой и велит стражам взять его. И вот, такова его сила и до того уже приучен, покорен и трепетно послушен ему народ, что толпа немедленно раздвигается пред стражами, и те, среди гробового молчания, вдруг наступившего, налагают на него руки и уводят его. Толпа моментально, вся как один человек, склоняется головами до земли пред старцем инквизиторм, тот молча благословляет народ и проходит мимо. Стража приводит пленника в тесную и мрачную сводчатую тюрьму в древнем здании Святого судилища и запирает в нее. Проходит день, настает темная, горячая и «бездыханная» севильская ночь. Воздух «лавром и лимоном пахнет». Среди глубокого мрака вдруг отворяется железная дверь тюрьмы, и сам старик великий инквизитор со светильником в руке медленно входит в тюрьму. Он один, дверь за ним тотчас же запирается. Он останавливается при входе и долго, минуту или две, всматривается в лицо его. Наконец тихо подходит, ставит светильник на стол и говорит ему: «Это ты? ты? – Но, не получая ответа, быстро прибавляет: – Не отвечай, молчи. Да и что бы ты мог сказать? Я слишком знаю, что ты скажешь. Да ты и права не имеешь ничего прибавлять к тому, что уже сказано тобой прежде. Зачем же ты пришел нам мешать? Ибо ты пришел нам мешать и сам это знаешь. Но знаешь ли, что будет завтра? Я не знаю, кто ты, и знать не хочу: ты ли это или только подобие его, но завтра же я осужу и сожгу тебя на костре, как злейшего из еретиков, и

⁴ *ad maiorem gloriam Dei* — к вящей славе Божией (лат.). Девиз Общества Иисуса, то есть иезуитов. Иван ставит его при сожжении сотни еретиков не случайно: весь дальнейший монолог Инквизитора — речь человека, убежденного, что действует к вящей славе Божией.

тот самый народ, который сегодня целовал твои ноги, завтра же по одному моему мановению бросится подгребать к твоему костру угли, знаешь ты это? Да, ты, может быть, это знаешь», – прибавил он в проникновенном раздумье, ни на мгновение не отрываясь взглядом от своего пленника.

– Я не совсем понимаю, Иван, что это такое? – улыбнулся все время молча слушавший Алеша, – прямо ли безбрежная фантазия или какая-нибудь ошибка старика, какое-нибудь невозможное *qui pro quo*⁵?

– Прими хоть последнее, – рассмеялся Иван, – если уж тебя так разбаловал современный реализм и ты не можешь вынести ничего фантастического – хочешь *qui pro quo*, то пусть так и будет. Оно правда, – рассмеялся он опять, – старику девяносто лет, и он давно мог сойти с ума на своей идее. Пленник же мог поразить его своею наружностью. Это мог быть, наконец, просто бред, видение девяностолетнего старика пред смертью, да еще разгоряченного вчерашним автодафе во сто сожженных еретиков. Но не все ли равно нам с тобою, что *qui pro quo*, что безбрежная фантазия? Тут дело в том только, что старику надо высказаться, что наконец за все девяносто лет он высказывается и говорит вслух то, о чем все девяносто лет молчал.

– А пленник тоже молчит? Глядит на него и не говорит ни слова?

– Да так и должно быть во всех даже случаях, – опять засмеялся Иван. – Сам старик замечает ему, что он и права не имеет ничего прибавлять к тому, что уже прежде сказано. Если хочешь, так в этом и есть самая основная черта римского католичества, по моему мнению по крайней мере: «все, дескать, передано тобою папе и все, стало быть, теперь у папы, а ты хоть и не приходи теперь вовсе, не мешай до времени по крайней мере». В этом смысле они не только говорят, но и пишут, иезуиты по крайней мере. Это я сам читал у их богословов. «Имеешь ли ты право возвестить нам хоть одну из тайн того мира, из которого ты пришел? – спрашивает его мой старик и сам отвечает ему за него, – нет, не имеешь, чтобы не прибавлять к тому, что уже было прежде сказано, и чтобы не отнять у людей свободы, за которую ты так стоял, когда был на земле. Все, что ты вновь возвестишь, посягнет на свободу веры людей, ибо явится как чудо, а свобода их веры тебе была дороже всего еще тогда, полторы тысячи лет назад. Не ты ли так часто тогда говорил: „Хочу сделать вас свободными“. Но вот ты теперь увидел этих „свободных“ людей, – прибавляет вдруг старик со вдумчивою усмешкой. – Да, это дело нам дорого стоило, – продолжает он, строго смотря на него, – но мы dokonчили наконец это дело во имя твое. Пятнадцать веков мучились мы с этою свободой, но теперь это кончено, и кончено крепко. Ты не веришь, что кончено крепко? Ты смотришь на меня кротко и не удостоиваешь меня даже негодования? Но знай, что теперь и именно ныне эти люди уверены более чем когда-нибудь, что свободны вполне, а между тем сами же они принесли нам свободу свою и покорно положили ее к ногам нашим. Но это сделали мы, а того ль ты желал, такой ли свободы?»

– Я опять не понимаю, – прервал Алеша, – он иронизирует, смеется?

– Нимало. Он именно ставит в заслугу себе и своим, что наконец-то они побороли свободу и сделали так для того, чтобы сделать людей счастливыми. «Ибо теперь только (то есть он, конечно, говорит про инквизицию) стало возможным помыслить в первый раз о счастье людей. Человек был устроен бунтовщиком; разве бунтовщики могут быть счастливыми? Тебя предупреждали, – говорит он ему, – ты не имел недостатка в предупреждениях и указаниях, но ты не послушал предупреждений, ты отверг единственный путь, которым можно было устроить людей счастливыми, но, к счастью, уходя, ты передал дело нам. Ты обещал, ты утвердил своим словом, ты дал нам право связывать и развязывать и уж, конечно, не можешь и думать отнять у нас это право теперь. Зачем же ты пришел нам мешать?»

– А что значит: не имел недостатка в предупреждении и указании? – спросил Алеша.

⁵ *qui pro quo* — путаница, недоразумение (лат.); буквально «кто вместо кого», подмена одного другим. Алеша предлагает считать пришедшего не Христом, а кем-то принятым за него по ошибке.

– А в этом-то и состоит главное, что старику надо высказать.

«Страшный и умный дух, дух самоуничтожения и небытия, – продолжает старик, – великий дух говорил с тобой в пустыне, и нам передано в книгах, что он будто бы „искушал“ тебя. Так ли это? И можно ли было сказать хоть что-нибудь истиннее того, что он возвестил тебе в трех вопросах, и что ты отверг, и что в книгах названо „искушениями“? А между тем если было когда-нибудь на земле совершено настоящее громовое чудо, то это в тот день, в день этих трех искушений. Именно в появлении этих трех вопросов и заключалось чудо. Если бы возможно было помыслить, лишь для пробы и для примера, что три эти вопроса страшного духа бесследно утрачены в книгах и что их надо восстановить, вновь придумать и сочинить, чтоб внести опять в книги, и для этого собрать всех мудрецов земных – правителей, первосвященников, ученых, философов, поэтов – и задать им задачу: придумайте, сочините три вопроса, но такие, которые мало того, что соответствовали бы размеру события, но и выражали бы сверх того, в трех словах, в трех только фразах человеческих, всю будущую историю мира и человечества, – то думаешь ли ты, что вся премудрость земли, вместе соединившаяся, могла бы придумать хоть что-нибудь подобное по силе и по глубине тем трем вопросам, которые действительно были предложены тебе тогда могучим и умным духом в пустыне? Уж по одним вопросам этим, лишь по чуду их появления, можно понимать, что имеешь дело не с человеческим текущим умом, а с вековечным и абсолютным. Ибо в этих трех вопросах как бы совокуплена в одно целое и предсказана вся дальнейшая история человеческая и явлены три образа, в которых сойдутся все неразрешимые исторические противоречия человеческой природы на всей земле. Тогда это не могло быть еще так видно, ибо будущее было неведомо, но теперь, когда прошло пятнадцать веков, мы видим, что все в этих трех вопросах до того угадано и предсказано и до того оправдалось, что прибавить к ним или убавить от них ничего нельзя более.

Реши же сам, кто был прав: ты или тот, который тогда вопрошал тебя? Вспомни первый вопрос; хоть и не буквально, но смысл его тот: «Ты хочешь идти в мир и идешь с голыми руками, с каким-то обетом свободы, которого они, в простоте своей и в прирожденном бесчинстве своем, не могут и осмыслить, которого боятся они и страшатся, – ибо ничего и никогда не было для человека и для человеческого общества невыносимее свободы! А видишь ли сии камни в этой нагой раскаленной пустыне? Обрати их в хлебы, и за тобой побежит человечество как стадо, благодарное и послушное, хотя и вечно трепещущее, что ты отымешь руку свою и прекратятся им хлебы твои». Но ты не захотел лишить человека свободы и отверг предложение, ибо какая же свобода, рассудил ты, если послушание куплено хлебами? Ты возразил, что человек жив не единым хлебом, но знаешь ли, что во имя этого самого хлеба земного и восстанет на тебя дух земли, и сразится с тобою, и победит тебя, и все пойдут за ним, восклицая: «Кто подобен зверю сему, он дал нам огонь с небеси!» Знаешь ли ты, что пройдут века и человечество провозгласит устами своей премудрости и науки, что преступления нет, а стало быть, нет и греха, а есть лишь только голодные. «Накорми, тогда и спрашивай с них добродетели!» – вот что напишут на знамени, которое воздвигнут против тебя и которым разрушится храм твой. На месте храма твоего воздвигнется новое здание, воздвигнется вновь страшная Вавилонская башня, и хотя и эта не достроится, как и прежняя, но все же ты бы мог избежать этой новой башни и на тысячу лет сократить страдания людей, ибо к нам же ведь придут они, промучившись тысячу лет со своей башней! Они отыщут нас тогда опять под землей, в катакомбах, скрывающихся (ибо мы будем вновь гонимы и мучимы), найдут нас и возопиют к нам: «Накормите нас, ибо те, которые обещали нам огонь с небеси, его не дали». И тогда уже мы и достроим их башню, ибо достроит тот, кто накормит, а накормим лишь мы, во имя твое, и солжем, что во имя твое. О, никогда, никогда без нас они не накормят себя! Никакая наука не даст им хлеба, пока они будут оставаться свободными, но кончится тем, что они принесут свою свободу к ногам нашим и скажут нам: «Лучше поработите нас, но накормите нас». Поймут наконец сами, что свобода и хлеб земной вдоволь для всякого вместе немыслимы, ибо никогда,

никогда не сумеют они разделить между собою! Убедятся тоже, что не могут быть никогда и свободными, потому что малосильны, порочны, ничтожны и бунтовщики. Ты обещал им хлеб небесный, но, повторяю опять, может ли он сравниться в глазах слабого, вечно порочного и вечно неблагородного людского племени с земным? И если за тобою во имя хлеба небесного пойдут тысячи и десятки тысяч, то что станет с миллионами и с десятками тысяч миллионов существ, которые не в силах будут пренебречь хлебом земным для небесного? Иль тебе дороги лишь десятки тысяч великих и сильных, а остальные миллионы, многочисленные, как песок морской, слабых, но любящих тебя, должны лишь послужить материалом для великих и сильных? Нет, нам дороги и слабые. Они порочны и бунтовщики, но под конец они-то станут и послушными. Они будут дивиться на нас и будут считать нас за богов за то, что мы, став во главе их, согласились выносить свободу и над ними господствовать – так ужасно им станет под конец быть свободными! Но мы скажем, что послушны тебе и господствуем во имя твое. Мы их обманем опять, ибо тебя мы уж не пустим к себе. В обмане этом и будет заключаться наше страдание, ибо мы должны будем лгать. Вот что значил этот первый вопрос в пустыне, и вот что ты отверг во имя свободы, которую поставил выше всего. А между тем в вопросе этом заключалась великая тайна мира сего. Приняв «хлебы», ты бы ответил на всеобщую и вековую тоску человеческую как единоличного существа, так и целого человечества вместе – это: «пред кем преклониться?» Нет заботы непрерывнее и мучительнее для человека, как, оставшись свободным, сыскать поскорее того, пред кем преклониться. Но ищет человек преклониться пред тем, что уже бесспорно, столь бесспорно, чтобы все люди разом согласились на всеобщее пред ним преклонение. Ибо забота этих жалких созданий не в том только состоит, чтобы сыскать то, пред чем мне или другому преклониться, но чтобы сыскать такое, чтоб и все уверовали в него и преклонились пред ним, и чтобы непременно все вместе. Вот эта потребность общности преклонения и есть главнейшее мучение каждого человека единолично и как целого человечества с начала веков. Из-за всеобщего преклонения они истребляли друг друга мечом. Они созидали богов и зывали друг к другу: «Бросьте ваших богов и придите поклониться нашим, не то смерть вам и богам вашим!» И так будет до скончания мира, даже и тогда, когда исчезнут в мире и боги: все равно падут пред идолами. Ты знал, ты не мог не знать эту основную тайну природы человеческой, но ты отверг единственное абсолютное знамя, которое предлагалось тебе, чтобы заставить всех преклониться пред тобою бесспорно, – знамя хлеба земного, и отверг во имя свободы и хлеба небесного. Взгляни же, что сделал ты далее. И все опять во имя свободы! Говорю тебе, что нет у человека заботы мучительнее, как найти того, кому бы передать поскорее тот дар свободы, с которым это несчастное существо рождается. Но овладевает свободой людей лишь тот, кто успокоит их совесть. С хлебом тебе давалось бесспорное знамя: дашь хлеб, и человек преклонится, ибо ничего нет бесспорнее хлеба, но если в то же время кто-нибудь овладеет его совестью помимо тебя – о, тогда он даже бросит хлеб твой и пойдет за тем, который обольстит его совесть. В этом ты был прав. Ибо тайна бытия человеческого не в том, чтобы только жить, а в том, для чего жить. Без твердого представления себе, для чего ему жить, человек не согласится жить и скорей истребит себя, чем останется на земле, хотя бы кругом его всё были хлебы. Это так, но что же вышло: вместо того чтоб овладеть свободой людей, ты увеличил им ее еще больше! Или ты забыл, что спокойствие и даже смерть человеку дороже свободного выбора в познании добра и зла? Нет ничего обольстительнее для человека, как свобода его совести, но нет ничего и мучительнее. И вот вместо твердых основ для успокоения совести человеческой раз навсегда – ты взял все, что есть необычайного, гадательного и неопределенного, взял все, что было не по силам людей, а потому поступил как бы и не любя их вовсе, – и это кто же: тот, который пришел отдать за них жизнь свою! Вместо того чтоб овладеть людскою свободой, ты умножил ее и обременил ее мучениями душевное царство человека вовеки. Ты возжелал свободной любви человека, чтобы свободно пошел он за тобою, прельщенный и плененный тобою. Вместо твердого древнего закона – свободным серд-

цем должен был человек решать впредь сам, что добро и что зло, имея лишь в руководстве твой образ пред собою, – но неужели ты не подумал, что он отвергнет же наконец и оспорит даже и твой образ и твою правду, если его угнетут таким страшным бременем, как свобода выбора? Они воскликнут наконец, что правда не в тебе, ибо невозможно было оставить их в смятении и мучении более, чем сделал ты, оставив им столько забот и неразрешимых задач. Таким образом, сам ты и положил основание к разрушению своего же царства и не вини никого в этом более. А между тем то ли предлагалось тебе? Есть три силы, единственные три силы на земле, могущие навеки победить и пленить совесть этих слабосильных бунтовщиков, для их счастья, – эти силы: чудо, тайна и авторитет. Ты отверг и то, и другое, и третье и сам подал пример тому. Когда страшный и премудрый дух поставил тебя на вершине храма и сказал тебе: «Если хочешь узнать, Сын ли ты Божий, то верзись вниз, ибо сказано про того, что ангелы подхватят и понесут его, и не упадет и не расшибется, и узнаешь тогда, Сын ли ты Божий, и докажешь тогда, какова вера твоя в Отца твоего», но ты, выслушав, отверг предложение и не поддался и не бросился вниз. О, конечно, ты поступил тут гордо и великолепно, как Бог, но люди-то, но слабое бунтующее племя это – они-то боги ли? О, ты понял тогда, что, сделав лишь шаг, лишь движение броситься вниз, ты тотчас бы и искусил Господа, и веру в него всю потерял, и разбился бы о землю, которую спасать пришел, и возрадовался бы умный дух, искушавший тебя. Но, повторяю, много ли таких, как ты? И неужели ты в самом деле мог допустить хоть минуту, что и людям будет под силу подобное искушение? Так ли создана природа человеческая, чтоб отвергнуть чудо и в такие страшные моменты жизни, моменты самых страшных основных и мучительных душевных вопросов своих оставаться лишь со свободным решением сердца? О, ты знал, что подвиг твой сохранится в книгах, достигнет глубины времен и последних пределов земли, и понадеялся, что, следуя тебе, и человек останется с Богом, не нуждаясь в чуде. Но ты не знал, что чуть лишь человек отвергнет чудо, то тотчас отвергнет и Бога, ибо человек ищет не столько Бога, сколько чудес. И так как человек оставаться без чуда не в силах, то насоздаст себе новых чудес, уже собственных, и поклонится уже знахарскому чуду, бабьему колдовству, хотя бы он сто раз был бунтовщиком, еретиком и безбожником. Ты не сошел со креста, когда кричали тебе, издеваясь и дразня тебя: «Сойди со креста и уверуем, что это ты». Ты не сошел потому, что опять-таки не захотел поработить человека чудом и жаждал свободной веры, а не чудесной. Жаждал свободной любви, а не рабских восторгов невольника пред могуществом, раз навсегда его ужаснувшим. Но и тут ты судил о людях слишком высоко, ибо, конечно, они невольники, хотя и созданы бунтовщиками. Озрись и суди, вот прошло пятнадцать веков, поди посмотри на них: кого ты вознес до себя? Клянусь, человек слабее и ниже создан, чем ты о нем думал! Может ли, может ли он исполнить то, что и ты? Столь уважая его, ты поступил, как бы перестав ему сострадать, потому что слишком много от него и потребовал, – и это кто же, тот, который возлюбил его более самого себя! Уважая его менее, менее бы от него и потребовал, а это было бы ближе к любви, ибо легче была бы ноша его. Он слаб и подл. Что в том, что он теперь повсеместно бунтует против нашей власти и гордится, что он бунтует? Это гордость ребенка и школьника. Это маленькие дети, взбунтовавшиеся в классе и выгнавшие учителя. Но придет конец и восторгу ребятишек, он будет дорого стоить им. Они ниспровергнут храмы и зальют кровью землю. Но догадаются наконец глупые дети, что хоть они и бунтовщики, но бунтовщики слабосильные, собственного бунта своего не выдерживающие. Обливаясь глупыми слезами своими, они сознаются наконец, что создавший их бунтовщиками, без сомнения, хотел посмеяться над ними. Скажут это они в отчаянии, и сказанное ими будет богохульством, от которого они станут еще несчастнее, ибо природа человеческая не выносит богохульства и в конце концов сама же всегда и отмстит за него. Итак, беспокойство, смятение и несчастье – вот теперешний удел людей после того, как ты столь претерпел за свободу их! Великий пророк твой в видении и в иносказании говорит, что видел всех участников первого воскресения и что было их из каждого колена по двенадцати тысяч. Но если было их столько, то были и они как

бы не люди, а боги. Они вытерпели крест твой, они вытерпели десятки лет голодной и нагой пустыни, питаясь акридами и кореньями, – и уж, конечно, ты можешь с гордостью указать на этих детей свободы, свободной любви, свободной и великолепной жертвы их во имя твое. Но вспомни, что их было всего только несколько тысяч, да и то богов, а остальные? И чем виноваты остальные слабые люди, что не могли вытерпеть того, что могучие? Чем виновата слабая душа, что не в силах вместить столь страшных даров? Да неужто же и впрямь приходил ты лишь к избранным и для избранных? Но если так, то тут тайна и нам не понять ее. А если тайна, то и мы вправе были проповедовать тайну и учить их, что не свободное решение сердец их важно и не любовь, а тайна, которой они повиноваться должны слепо, даже мимо их совести. Так мы и сделали. Мы исправили подвиг твой и основали его на чуде, тайне и авторитете. И люди обрадовались, что их вновь повели как стадо и что с сердец их снят наконец столь страшный дар, принесший им столько муки. Правы мы были, уча и делая так, скажи? Неужели мы не любили человечества, столь смиренно сознав его бессилие, с любовью облегчив его ношу и разрешив слабосильной природе его хотя бы и грех, но с нашего позволения? К чему же теперь пришел нам мешать? И что ты молча и проникновенно глядишь на меня кроткими глазами своими? Рассердись, я не хочу любви твоей, потому что сам не люблю тебя. И что мне скрывать от тебя? Или я не знаю, с кем говорю? То, что имею сказать тебе, все тебе уже известно, я читаю это в глазах твоих. И я ли скрою от тебя тайну нашу? Может быть, ты именно хочешь услышать ее из уст моих, слушай же: мы не с тобой, а с ним, вот наша тайна! Мы давно уже не с тобою, а с ним, уже восемь веков. Ровно восемь веков назад как мы взяли от него то, что ты с негодованием отверг, тот последний дар, который он предлагал тебе, показав тебе все царства земные: мы взяли от него Рим и меч кесаря и объявили лишь себя царями земными, царями едиными, хотя и доньше не успели еще привести наше дело к полному окончанию. Но кто виноват? О, дело это до сих пор лишь в начале, но оно началось. Долго еще ждать завершения его, и еще много выстрадает земля, но мы достигнем и будем кесарями и тогда уже помыслим о всемирном счастье людей. А между тем ты бы мог еще и тогда взять меч кесаря. Зачем ты отверг этот последний дар? Приняв этот третий совет могучего духа, ты восполнил бы все, чего ищет человек на земле, то есть: пред кем преклониться, кому вручить совесть и каким образом соединиться наконец всем в бесспорный общий и согласный муравейник, ибо потребность всемирного соединения есть третье и последнее мучение людей. Всегда человечество в целом своем стремилось устроиться непременно всемирно. Много было великих народов с великою историей, но чем выше были эти народы, тем были и несчастнее, ибо сильнее других сознавали потребность всемирности соединения людей. Великие завоеватели, Тимуры и Чингис-ханы, пролетели как вихрь по земле, стремясь завоевать вселенную, но и те, хотя и бессознательно, выразили ту же самую великую потребность человечества ко всемирному и всеобщему единению. Приняв мир и порфиру кесаря, основал бы всемирное царство и дал всемирный покой. Ибо кому же владеть людьми как не тем, которые владеют их совестью и в чьих руках хлеба их. Мы и взяли меч кесаря, а взяв его, конечно, отвергли тебя и пошли за ним. О, пройдут еще века бесчинства свободного ума, их науки и антропофагии, потому что, начав возводить свою Вавилонскую башню без нас, они кончат антропофагией. Но тогда-то и приползет к нам зверь, и будет лизать ноги наши, и обрызжет их кровавыми слезами из глаз своих. И мы сядем на зверя и воздвигнем чашу, и на ней будет написано: «Тайна!» Но тогда лишь и тогда настанет для людей царство покоя и счастья. Ты гордишься своими избранниками, но у тебя лишь избранники, а мы успокоим всех. Да и так ли еще: сколь многие из этих избранников, из могучих, которые могли бы стать избранниками, устали наконец, ожидая тебя, и понесли и еще понесут силы духа своего и жар сердца своего на иную ниву и кончат тем, что на тебя же и воздвигнут свободное знамя свое. Но ты сам воздвиг это знамя. У нас же все будут счастливы и не будут более ни бунтовать, ни истреблять друг друга, как в свободе твоей, повсеместно. О, мы убедим их, что они тогда только и станут свободными, когда

откажутся от свободы своей для нас и нам покорятся. И что же, правы мы будем или солжем? Они сами убедятся, что правы, ибо вспомнят, до каких ужасов рабства и смятения доводила их свобода твоя. Свобода, свободный ум и наука заведут их в такие дебри и поставят перед такими чудами и неразрешимыми тайнами, что одни из них, непокорные и свирепые, истребят себя самих, другие, непокорные, но малосильные, истребят друг друга, а третьи, оставшиеся, слабосильные и несчастные, приползут к ногам нашим и возопиют к нам: «Да, вы были правы, вы одни владели тайной его, и мы возвращаемся к вам, спасите нас от себя самих». Получая от нас хлебы, конечно, они ясно будут видеть, что мы их же хлебы, их же руками добытые, берем у них, чтобы им же раздать, безо всякого чуда, увидят, что не обратили мы камней в хлебы, но воистину более, чем самому хлебу, рады они будут тому, что получают его из рук наших! Ибо слишком будут помнить, что прежде, без нас, самые хлебы, добытые ими, обращались в руках их лишь в камни, а когда они воротились к нам, то самые камни обратились в руках их в хлебы. Слишком, слишком оценят они, что значит раз навсегда подчиниться! И пока люди не поймут сего, они будут несчастны. Кто более всего способствовал этому непониманию, скажи? Кто раздробил стадо и рассыпал его по путям неведомым? Но стадо вновь соберется и вновь покорится, и уже раз навсегда. Тогда мы дадим им тихое, смиренное счастье, счастье слабосильных существ, какими они и созданы. О, мы убедим их наконец не гордиться, ибо ты вознес их и тем научил гордиться; докажем им, что они слабосильны, что они только жалкие дети, но что детское счастье слаще всякого. Они станут робки и станут смотреть на нас и прижиматься к нам в страхе, как птенцы к наседке. Они будут дивиться и ужасаться на нас и гордиться тем, что мы так могучи и так умны, что могли усмирить такое буйное тысячемиллионное стадо. Они будут расслабленно трепетать гнева нашего, умы их оробеют, глаза их станут слезоточивы, как у детей и женщин, но столь же легко будут переходить они по нашему мано-вению к веселью и к смеху, светлой радости и счастливой детской песенке. Да, мы заставим их работать, но в свободные от труда часы мы устроим им жизнь как детскую игру, с детскими песнями, хором, с невинными плясками. О, мы разрешим им и грех, они слабы и бессильны, и они будут любить нас как дети за то, что мы им позволим грешить. Мы скажем им, что всякий грех будет искуплен, если сделан будет с нашего позволения; позволяем же им грешить потому, что их любим, наказание же за эти грехи, так и быть, возьмем на себя. И возьмем на себя, а нас они будут обожать как благодетелей, понесших на себе их грехи пред Богом. И не будет у них никаких от нас тайн. Мы будем позволять или запрещать им жить с их женами и любовницами, иметь или не иметь детей – все судя по их послушанию – и они будут нам покоряться с весельем и радостью. Самые мучительные тайны их совести – все, все понесут они нам, и мы все разрешим, и они поверят решению нашему с радостью, потому что оно избавит их от великой заботы и страшных теперешних мук решения личного и свободного. И все будут счастливы, все миллионы существ, кроме сотни тысяч управляющих ими. Ибо лишь мы, мы, хранящие тайну, только мы будем несчастны. Будет тысячи миллионов счастливых младенцев и сто тысяч страдальцев, взявших на себя проклятие познания добра и зла. Тихо умрут они, тихо угаснут во имя твое и за гробом обрящут лишь смерть. Но мы сохраним секрет и для их же счастья будем манить их наградой небесною и вечною. Ибо если б и было что на том свете, то уж, конечно, не для таких, как они. Говорят и пророчествуют, что ты придешь и вновь победишь, придешь со своими избранниками, со своими гордыми и могучими, но мы скажем, что они спасли лишь самих себя, а мы спасли всех. Говорят, что опозорена будет блудница, сидящая на звере и держащая в руках своих тайну, что взбунтуются вновь малосильные, что разорвут порфиру ее и обнажат ее «гадкое» тело. Но я тогда встану и укажу тебе на тысячи миллионов счастливых младенцев, не знавших греха. И мы, взявшие грехи их для счастья их на себя, мы станем пред тобой и скажем: «Суди нас, если можешь и смеешь». Знай, что я не боюсь тебя. Знай, что и я был в пустыне, что и я питался акридами и кореньями, что и я благословлял свободу, которою ты благословил людей, и я готовился стать в число избранников

твоих, в число могучих и сильных с жадой «восполнить число». Но я очнулся и не захотел служить безумию. Я воротился и примкнул к сонму тех, которые исправили подвиг твой. Я ушел от гордых и воротился к смиренным для счастья этих смиренных. То, что я говорю тебе, сбудется, и царство наше созиждется. Повторяю тебе, завтра же ты увидишь это послушное стадо, которое по первому мановению моему бросится подгрести горячие угли к костру твоему, на котором сожгу тебя за то, что пришел нам мешать. Ибо если был кто всех более заслужил наш костер, то это ты. Завтра сожгу тебя. *Dixi*⁶».

Иван остановился. Он разгорячился, говоря, и говорил с увлечением; когда же кончил, то вдруг улыбнулся.

Алеша, все слушавший его молча, под конец же, в чрезвычайном волнении, много раз пытавшийся перебить речь брата, но видимо себя сдерживавший, вдруг заговорил, точно сорвался с места.

– Но... это нелепость! – вскричал он, краснея. – Поэма твоя есть хвала Иисусу, а не хула... как ты хотел того. И кто тебе поверит о свободе? Так ли, так ли надо ее понимать! То ли понятие в православии... Это Рим, да и Рим не весь, это неправда – это худшие из католичества, инквизиторы, иезуиты!.. Да и совсем не может быть такого фантастического лица, как твой инквизитор. Какие это грехи людей, взятые на себя? Какие это носители тайны, взявшие на себя какое-то проклятие для счастья людей? Когда они виданы? Мы знаем иезуитов, про них говорят дурно, но то ли они, что у тебя? Совсем они не то, вовсе не то... Они просто римская армия для будущего всемирного земного царства, с императором – римским первосвященником во главе... вот их идеал, но безо всяких тайн и возвышенной грусти... Самое простое желание власти, земных грязных благ, порабощения... вроде будущего крепостного права, с тем что они станут помещиками... вот и все у них. Они и в Бога не веруют, может быть. Твой страдающий инквизитор одна фантазия...

⁶ *Dixi* — «я сказал» (лат.). Формула, которой в старину завершали речь: сказанного довольно, добавить нечего. Инквизитор кончает ею приговор.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.